



## А. БЕЛЫЙ

### О теургии

<отрывок>

<...> В настоящую минуту вершины мысли и чувства загорелись теургизмом. Теургизм, магизм и т. д. — повседневные слова «не в сочетаньях ежедневных», способные смутить «мирный сон гробов»<sup>1</sup>, — конечно, являют собою глубоко проникшее в душу стремление выразить *словом и делом* музыку, запавшую к нам из бессмертных далей и способную до некоторой степени влиять на музыку, стихийно разлитую вокруг, так что эта последняя по отзывчивости начнет вторить, аккомпанировать музыке из бессмертных далей. Отсюда открывается громадная перспектива в понимании музыкальной телепатии, внушения и т. д.

Музыка — это действительная, стихийная магия. Музыка доселе была впереди европейского человечества. Быть может, лишь в настоящую минуту оно начинает вплотную подходить к музыке, вбирая в себя ее стихийную, магическую мощь. Способность стихийно влиять, подчинять, зачаровывать несомненно растет. Так будет и впредь. Нижеприведенное стихотворение указывает на степень роста человеческого духа в направлении стихийного магизма:

Ты горишь высоко над горою,  
Недоступна в своем терему,  
Я примчуся вечерней порою,  
В упоенье мечту обниму.  
Ты, заслышав меня издалека,  
Свой костер разведешь ввечеру.  
Стану, верный велениям рока,  
Постигать огневую игру.  
И когда среди мрака снопами  
Искры станут кружиться в дыму,

Я умчусь огневыми кругами  
И настигну тебя в терему.

(А. Блок)<sup>2</sup>

Какое верное словесное отражение магически душевной музыки, присутствием которой обусловлена возможность телепатии и т. д.

Что же это за веяние? Откуда оно? А вот отрывок Лермонтова:

Пускай холодною землею  
Засыпан я.  
О, друг! Всегда, везде с тобою  
Душа моя...  
Коснется ль чуждое дыханье  
Твоих ланит —  
Душа моя в немом страданье  
Вся задрожит.  
Случится ль — шепчешь, засыпая,  
Ты о другом;  
*Твои слова текут, пылая,  
По мне огнем*<sup>3</sup>.

Итак, магизм, способный возмутить того, кто достаточно не наивен, чтобы презрительно отвертываться от «*декадентских ломаний*», был свойственен Лермонтову? Он только приблизился к нам, стал психологически доступнее. Ясно — что-то движется, что-то медленно вползает в нашу душу, бросая нас в огонь и в холод, убивая лучших из нас, взывая в тишине к современным Заратустрам: «О, Заратустра, кому надлежит двигать горы, тот передвигает и низины... Самое унижительное в тебе: ты имеешь силу и не хочешь властвовать”... — “У меня недостает львиного голоса для повелений”. Тогда опять со мной заговорили как бы шепотом: “Самые тихие слова и производят бурю... О, Заратустра, ты пойдешь как тень того, что должно прийти, так ты будешь повелевать и, повелевая, предшествовать”...» (Ницше)<sup>4</sup>. И вот мы все, как тень того, что должно прийти, отправились в духовное странствие, прислушиваясь в душе своей к *новым*, быть может никогда не бывшим *звучаниям*.

\* \* \*

Если всякая глубокая музыка, так или иначе воплощаемая, в основе своей магична, то далеко не всякая теургична. Теургия с этой точки зрения является как бы *белой магией*. Если

говорится пророкам, ходящим пред Господом: «Утешайте, утешайте народ мой»<sup>5</sup>, то, наоборот, к магам, владеющим тайной составления «не ежедневных сочетаний» повседневных слов, но не обращенным ко Господу, относится грозное: «Терафимы говорят пустое и вещуны видят ложное...»<sup>6</sup>, т. е. умение магически управлять стихиями посредством звучаний души не во славу Божию — грех и ужас. И Лермонтов, в душе которого шевелились волны магизма, всегда оканчивал свои огневые прозрения безнадежным аккордом:

И видел я, как руки костяные  
 Моих друзей сдавили — их не стало...  
 . . . . .  
 Ломая руки и глотая слезы,  
 Я на Творца роптал, боясь молиться<sup>7</sup>.

После проникновенных строк:

Кто скажет мне, что звук ее речей  
 Не отголосок рая? Что душа  
 Не смотрит из живых ее очей,  
 Когда на них смотрю я, чуть дыша?

Вдруг:

Пусть я кого-нибудь люблю:  
 Любовь не красит жизнь мою,  
 Она, как чумное пятно  
 На сердце, жжет — хотя темно<sup>8</sup>.

Хотя эти строки писаны еще юношей, однако до конца своей жизни Лермонтов остался неизменным... «И скучно и грустно, и некому руку подать» — после таких глубин любви, которые могли бы осветить жизнь немеркнувшим светом... Что за странное желание у Лермонтова, когда он говорит: «О, пусть холодность мне твой взор укажет, пусть он убьет надежды и мечты, и все, что в сердце возродила ты, — душа моя тебе лишь скажет: “Благодарю!..”»<sup>9</sup> А между тем чувствуешь упоительность настроения, охватившего поэта, — настроения, не признанного им до конца. Здесь, в любовных отношениях, как бы нащупывается какой-то особый, новый путь. Вся знаменательность подобных строк углубляется, подчеркивается такими выражениями, как нижеприведенное: «Как небеса, твой взор блистает эмалью голубой...», «И не узнает шумный свет, кто нежно так любим, как я страдал и сколько лет я памятью томим. И где бы я ни стал искать былую тишину, все сердце будет мне шеп-

тать: люблю, люблю одну...»<sup>10</sup> Искание вечной любви — вот то чувство, которое заставляло Лермонтова обращаться к любимой женщине с просьбой «убить холодным взором» надежды. Боязнь и сознание, что каждая земная любовь преходяща, вместе с исканием в любимом существе отблеска Вечности, освобождаемого памятью из-под оков случайного и преходящего, — все это сочетает у Лермонтова искание *вечной любви* с исканием *любви у Вечности*. Отсюда еще один шаг — и любимое существо становится лишь бездонным символом, окном, в которое заглядывает какая-то Вечная, Лучезарная Подруга<sup>11</sup> — Возлюбленная...

И создал я тогда в моем воображенье  
По легким признакам красавицу мою  
И с той поры бесплодное виденье  
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю<sup>12</sup>.

Если бы Лермонтов сознал, что его виденье не бесплодно, а бесплодна та полумаска, из-под которой блеснул ему луч жизни вечной, то из разочарованного демониста обратился бы в того *рыцаря бедного*, которого Пушкин заставил увидеть «одно виденье, непостижное уму»<sup>13</sup>, и уже, очевидно, без всякой *полумаски*. Но этого не было с Лермонтовым — и вот он обрывает ростки своих прозрений, могущие обратиться в пышные растения, вершиной касающиеся небес. Впрочем, смутное сознание *не* бесплодности его видения ясно звучит в следующих строках:

И все мне кажется: живые эти речи  
В года минувшие слышал когда-то я.  
И кто-то шепчет мне, что после этой встречи  
Мы вновь увидимся, как старые друзья...

«Нет, *не тебя* так пылко я люблю... В твоих чертах ищу *черты иные*»<sup>14</sup> — новый шаг на тернистом пути искания *новой любви*, новых отношений между людьми. Наконец, последняя ступень прозрения Лермонтова заставляет перенести искание Вечной Подруги на весь мир. Она — стихийно разлита вокруг. Уловить Ее улыбку в заре, узнавать Ее в окружающем отблеске Вечной Женственности, о которой Соловьев говорит, что Она грядет ныне на землю в «теле нетленном»<sup>15</sup>, ждать Ее откровения в небесах, блистающих, как *голубые очи* («как небеса, твой взор блистает эмалью голубой»), — вот назначение поэта-пророка, каким мог быть Лермонтов... И он уже подходит к этой вершинной, мистически слетающей любви, когда говорит:

В аллею темную вхожу я: сквозь кусты  
 Глядит вечерний луч, и желтые листы  
 Шумят под робкими шагами.  
 И странная тоска теснит уж грудь мою:  
 Я думаю о ней, я плачу, я люблю —  
 Люблю мечты моей создание  
 С глазами, полными лазурного огня,  
 С улыбкой розовой, как молодого дня  
 Над лесом первое сиянье<sup>16</sup>.

Еще шаг, еще один только шаг — Лермонтов узнал бы в легком дуновении ветерка заревой привет Той, Которую он искал всю жизнь и столько раз почти находил. Той, о Которой говорится: «Она есть отблеск вечного света, и чистое зеркало действия Божия, и образ благодати Его. Она — одна, но может все и, пребывая в самой себе, все обновляя и переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков... Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом — Она выше»...<sup>17</sup> Он прочел бы в душе имя Той, Которая выше херувимов и серафимов — идей — ангелов, — потому что Она — идея вселенной, Душа мира, Которую Вл. Соловьев называет Софией, Премудростью Божией и Которая воплощает Божественный Логос... К Ней обращены средневековые гимны: «Mater Dei sine spina — peccatorum medicina»...<sup>18</sup> К ней и теперь обращены гимны:

И в пурпуре небесного блистанья  
 С очами, полными лазурного огня\*\*,  
 Глядела ты, как первое сиянье  
 Всемирного и творческого дня...  
 Что есть, что было, что грядет веки,  
 Все обнял тут один недвижный взор...  
 . . . . .  
 Все видел я, и все одно лишь было,  
 Один лишь образ женской красоты.  
 Безмерное в его размер входило...  
 О, лучезарная!..\*\*\*

(Соловьев)

\* Матерь Божия без шипов, исцеление грешников (лат.). — Сост.

\*\* Соловьев указывает на то, что он пользуется стихом Лермонтова.

\*\*\* Как относился Соловьев к подобному стихотворению, видно из примечания его: «Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвести в... стихах самое значительное из того, что до сих пор случалось со мной»<sup>19</sup>.

Облако светлое, мглою вечерней  
 Божьим избранникам ярко блестящее,  
 Радуга, небо с землею мирящая,  
 Божьих заветов ковчег неизменный,  
 Манны небесной фиал драгоценный,  
 Вьсь неприступная. Бога носящая!  
 Дольний наш мир осени лучезарным покровом,  
 Свыше ты осененная,  
 Вся озаренная  
 Светом и словом!

(Петрарка)<sup>20</sup>

Но Лермонтов не воскликнул:

Знайте же, Вечная Женственность ныне  
 В теле нетленном на землю идет!

(Соловьев)<sup>21</sup>

Личная неприготовленность к прозреваемым идеям погубила его... И в конце концов:

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,  
 Такая пустая и глупая шутка!

Тем, кто не может идти все вперед и вперед, нельзя проникать дальше известных пределов. В результате — ощущение нуменального греха, странная тяжесть, переходящая в ужас. Прозрения вместо окрыления начинают жечь того, кто не может изменить себя. «Вот грядет день, пылающий, как печь» (Малахия)<sup>22</sup>, — в душе мага. Обуянный страхом, он восклицает, обращаясь к друзьям:

Что судьбы вам дряхлеющего мира!..  
 Над вашей головой колеблется секира.  
 Ну что ж? Из вас один ее увижу я...

(Лермонтов)<sup>23</sup>

Быть может, он видел секиру, занесенную над собой? А вот уже прямо:

Не смейся над моей пророческой тоской:  
 Я знал — удар судьбы меня не обойдет.  
 Я знал, что голова, любимая тобой,  
 С твоей груди на плаху перейдет!

(Лермонтов)

И это писано в год дуэли — того удара судьбы, которого, быть может, и нельзя было обойти Лермонтову<sup>24</sup>. Он увидел слишком много. Он узнал то, чего другие не могли знать.

Такие люди, как Лермонтов, называемые светскими писателями-демонистами и о которых в Писании сказано, что они — незаконные, — такие люди подвержены беспричинной тоске и ужасу... «Свищущий ветер... или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих... зверей: *все это, ужасая их, повергало в расслабление. Ибо весь мир был окутан ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевшей некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы*»<sup>25</sup>.

В своих прозрениях Лермонтов не дошел до конца. Гениальная поэзия его все еще срединна. Отсюда демоническая окраска его поэзии. Отсюда же двусмысленность, двузначность типов вроде Печорина. И здесь есть хлестаковство. Только оно пало на душу, закралось в самые тайные уголки мысли и чувства. Едва ли сам Лермонтов был повинен в своем демонизме. Он является козлицем отпущения и за свою, и за нашу эпоху. Та, которую он всю жизнь искал, не открылась ему до конца, но и не осталась в маске. Вся мучительность его порываний к Вечности заключается в том, что некоторые черты Ее были доступны ему. Она была закрыта от него только *полумаской*. Не разрешенное Лермонтовым взывает в наших душах. Мы или должны закрыть глаза на порывание духа к вечной любви, или, сорвав полумаску, найти Вечность, чтобы наконец блеснуло нам — бедным рыцарям — «*виденье, непостижное уму*»... И вот, когда звучат нам слова, полные смысла: «Я озарен... Я жду твоих шагов...», «Весь горизонт в огне и близко появленье»<sup>26</sup> и т. д. — со страхом Божиим и верою приступаем мы к решению рокового, приблизившегося к нам вопроса.

Мы должны помнить, что в любви нет ужаса. «*Пребывающий в любви пребывает в Боге*», потому что «*Бог есть любовь*»<sup>27</sup>. Мы должны помнить, что мы — возлюбленные Богом. Разве это не источник величайшего счастья? В обещании, что мы будем подобны Ему, кроется наша милая, радостная надежда. Будем же крепко держаться за эту надежду, потому что, по словам апостола Иоанна, «*имеющий сию надежду на Него очищает себя*» (Послание Иоанна, гл. III, 3).

Сила и преимущество теургии перед магией заключается в том, что первая вся пронизана пламенной любовью и высочайшей надеждой на милость Божию.

Вот почему утешение магией, какую бы последняя ни обладала мощью, есть опять-таки утешение пустотою — той пустотою, о которой Господь говорит пророку Захарии<sup>28</sup>. <...>

